

# Вирджиния Вулф

Перевод с английского АЛЕКСАНДРА ЛИВЕРГАНТА

## Карандаш. Лондонское приключение

Нет человека, который бы питал страстную любовь к карандашу. Бывают, однако, обстоятельства, когда испытываешь неодолимое желание им обзавестись, минуты, когда мы задаемся целью приобрести его любой ценой. И под этим предлогом между чаем и ужином мы идем пешком через весь Лондон.

Подобно тому, как охотник охотится на лис, чтобы сохранить лисью породу, а спортсмен играет в гольф, чтобы сохранить от застройки открытые пространства, карандаш служит отличным поводом для прогулки по лондонским улицам. “В самом деле, мне ведь нужен карандаш, — говорим себе мы, вставая, — должен же найтись предлог, чтобы получить ни с чем не сравнимое удовольствие от путешествия пешком по зимнему Лондону!”

Зимнему и вечернему, ибо зимним вечером воздух искрится, точно шампанское, и заполненные пешеходами улицы особенно к себе располагают. В такое время дня, в такое время года нас не тянет, как летом, искать тень и покой, вдыхать сладкий запах скошенных лугов. Кроме того, в вечерние часы мы ощущаем легкомыслие, которому способствуют темнота и уличные фонари. Мы уже больше себе не принадлежим. Когда чудесным вечером, между четырьмя и шестью, мы выходим из дома, то перестаем быть собой, теми, кого знают наши друзья, и вливаемся в несметную республиканскую армию неведомых странников, в чьем обществе мы так нуждаемся после одиночества своей комнаты. Ведь у себя дома мы находимся в окружении предметов, в которых сказывается причудливость наших темпераментов, которые удерживают в памяти лишь наш собственный опыт. Взять хотя бы эту вазу на камине, куплена она была в Мантуе ветренным днем. Мы выходили из магазина, когда какая-то зловещего вида старуха дернула нас за юбки и сказала, что не сегодня завтра помрет от голода. “Берите ее!” — вскричала она и всучила нам эту бело-синюю вазу с таким видом, будто не желает и слышать о своем донкихотском благородном поступке. С виноватым видом, однако заподозрив, что нас обвели вокруг пальца, мы отнесли вазу обратно к себе в гостиницу, где посреди ночи хозяин с такой яростью отчитывал жену, что мы все выглянули во двор посмотреть, что происходит, и увидели виноградные лозы, оплетавшие колонны, и белевшие в небе звезды. Это мгновение, словно втоптанная в землю монетка, запомнилось, неизгладимо запечатлелось среди миллиона других, незаметно ускользнувших мгновений. Был там еще меланхоличный англичанин, вознесшись над кофейными чашками и маленькими железными столиками, он, как и все путешественники, принялся изливать нам душу. Все это: и Италия, и ветренное утро, и обвившиеся вокруг колонны виноградные лозы, и англичанин с тайнами своей души — все это поднялось облаком над стоявшей на камине фарфоровой вазой. А вот еще бурое кольцо на ковре. Всему виной был мистер Ллойд-Джордж. “Этот человек — сущий дьявол!” — сказал мис-

[195]

ИЛ 5/2025

Подобно тому, как охотник охотится на лис, чтобы сохранить лисью породу, а спортсмен играет в гольф, чтобы сохранить от застройки открытые пространства, карандаш служит отличным поводом для прогулки по лондонским улицам. “В самом деле, мне ведь нужен карандаш, — говорим себе мы, вставая, — должен же найтись предлог, чтобы получить ни с чем не сравнимое удовольствие от путешествия пешком по зимнему Лондону!”

Зимнему и вечернему, ибо зимним вечером воздух искрится, точно шампанское, и заполненные пешеходами улицы особенно к себе располагают. В такое время дня, в такое время года нас не тянет, как летом, искать тень и покой, вдыхать сладкий запах скошенных лугов. Кроме того, в вечерние часы мы ощущаем легкомыслие, которому способствуют темнота и уличные фонари. Мы уже больше себе не принадлежим. Когда чудесным вечером, между четырьмя и шестью, мы выходим из дома, то перестаем быть собой, теми, кого знают наши друзья, и вливаемся в несметную республиканскую армию неведомых странников, в чьем обществе мы так нуждаемся после одиночества своей комнаты. Ведь у себя дома мы находимся в окружении предметов, в которых сказывается причудливость наших темпераментов, которые удерживают в памяти лишь наш собственный опыт. Взять хотя бы эту вазу на камине, куплена она была в Мантуе ветреным днем. Мы выходили из магазина, когда какая-то злобещего вида старуха дернула нас за юбки и сказала, что не сегодня завтра помрет от голода. “Берите ее!” — вскричала она и всучила нам эту бело-синюю вазу с таким видом, будто не желает и слышать о своем донкихотском благородном поступке. С виноватым видом, однако заподозрив, что нас обвели вокруг пальца, мы отнесли вазу обратно к себе в гостиницу, где посреди ночи хозяин с такой яростью отчитывал жену, что мы все выглянули во двор посмотреть, что происходит, и увидели виноградные лозы, оплетавшие колонны, и белевшие в небе звезды. Это мгновение, словно втопанная в землю монетка, запомнилось, неизгладимо запечатлелось среди миллиона других, незаметно ускользнувших мгновений. Был там еще меланхоличный англичанин, вознесшись над кофейными чашками и маленькими железными столиками, он, как и все путешественники, принялся изливать нам душу. Все это: и Италия, и ветреное утро, и обвившиеся вокруг колонны виноградные лозы, и англичанин с тайнами своей души — все это поднялось облаком над стоявшей на камине фарфоровой вазой. А вот еще бурое кольцо на ковре. Всему виной был мистер Ллойд-Джордж. “Этот человек — сущий дьявол!” — сказал мис-

тер Каммингс, собиравшийся заварить чай и в сердцах опустивший чайник с кипятком на ковер, отчего на нем осталось бурое кольцо.

Но когда мы выходим на улицу и дверь за нами закрывается, все это исчезает. Раковина, которую создали наши души, чтобы мы могли незаметно в эту раковину поместиться, придать себе очертания, непохожие на любые другие, разбилась, и от всех этих наших несообразностей остался лишь моллюск восприимчивости — огромный глаз. Как же красива улица зимой! Она одновременно и бросается в глаза, и скрывается из глаз. Здесь, словно в тумане, видишь череду дверей и окон; здесь, под фонарями, проплывают островки бледного света, в котором спуют, сменяя друг друга, оживленные мужчины и женщины. При всей их бедности, заполошенности в лицах сквозит нечто нереальное, вид у них победоносный, как будто они ускользнули от жизни, и жизнь, лишившись своей добычи, бредет на ощупь, как придется, без них. Что ж, в конце концов мы лишь скользим по поверхности. Наш глаз — не рудокоп, не водолаз, не искатель припрятанных сокровищ. Он словно бы плывет по течению, отдыхает, замирает; глаз смотрит, мозг же тем временем, возможно, спит.

Как красива лондонская улица с ее островками света и темными закоулками, по одну ее сторону вырастают вдруг какие-то деревья или поросший травой газон, где ночи так уютно спится, а по другую — железная ограда, за которой вдруг раздастся потрескивание сухой ветки и шум листвы, как будто вокруг спящие поля, ухает сова и вдалеке, где-то в долине, идет поезд. Но ведь это Лондон, напоминаем мы себе; высоко, среди голых деревьев, светятся косым красновато-желтым светом окна; фонари, точно низкие звезды, переливаясь, освещают путь. Пустырь, от которого веет мирной сельской жизнью, это всего-навсего лондонский сквер. Вокруг громоздятся дома, конторы, где в этот час ослепительный свет падает на карты, на документы, на письменные столы, за которыми клерки смоченным указательным пальцем листают страницы нескончаемой деловой переписки. За окнами частного дома огонь в камине, лампа под абажуром проливают теплый, колеблющийся свет на гостиную, на мягкие кресла, на обои, на фарфор, на стол с инкрустацией, на женщину, которая сосредоточенно считает чайные ложечки. Смотрит на дверь, словно услышала внизу звонок и чей-то голос: кто-то спрашивает, дома ли она.

Но тут нам совершенно необходимо прерваться, ведь мы рискуем погрузиться туда, куда глазу не добраться. Мы хоть и несемся по течению, однако то и дело натываемся то на вет-

ку, то на выступающий из воды корень. В любую минуту спящая армия может пробудиться и в ответ пробудить в нас тысячи скрипок и труб; армия человеческих особей может востать и во всеуслышание заявить о всех своих причудах, и страданиях, и подлостях. Давайте же ненадолго остановимся, будем довольствоваться только тем, что на поверхности, — ослепительным блеском проезжающих автомобилей, кровавым великолепием мясных лавок с их желтыми бочками и алыми бифштексами, синими и красными букетами цветов, что весело переглядываются за сверкающими витринами цветочных магазинов.

У глаза странное свойство: он отдыхает, только когда смотрит на красоту; подобно бабочке, он ищет цвет и наслаждается теплом. В такой зимний вечер, когда природа изо всех сил прихорашивается, он награждает нас самыми ценными трофеями, откалывает кусочки изумрудов и кораллов, так, точно вся земля состоит только из драгоценных камней. Одно только ему не под силу (мы говорим о самом обыкновенном, непрофессиональном глазе) — составить эти трофеи таким образом, чтобы бросались в глаза самые непонятные, неожиданные связи. В результате, после продолжительной диеты, довольствуясь этой простой, здоровой пищей, красотой чистой и беспримесной, мы сознаем, что пресытились. Мы останавливаемся в дверях обувного магазина и под пустяшным предлогом, который не имеет ничего общего со здравым смыслом, меняем яркое многообразие улиц на сумрак, беспросветность и, послушно поставив левую ногу на подставку, задаемся законным вопросом: “Каково это — быть карликом?”

Она вошла в сопровождении двух женщин; оттого, что были они нормального роста, рядом с ней они напоминали великодушных великанш. Улыбаясь продавщицам, они как будто отказывались признать ее изъян, уверяли ее в своей поддержке. На лице у карлицы застыло брюзгливое и в то же время виноватое выражение, обычное у уродов. Она нуждалась в их доброте, в их расположении, и вместе с тем доброта эта выводила ее из себя. Но когда продавщицу подозревали, когда великанши, по-прежнему ласково улыбаясь, попросили ее подобрать туфли для “этой леди”, и продавщица поставила перед ней небольшое возвышение, — карлица подняла ногу с такой порывистостью, что мы не смогли не обратить на это внимание. “Нет, вы только посмотрите! Посмотрите!” — словно бы взывала она к нам. Смотреть и правда было на что, ибо мы увидели изящную, стройную ногу взрослой женщины. Изящная, с высоким подъемом артистическая ножка. Вся ее

манера держаться тотчас же изменилась, стоило ей окинуть взглядом стоящую на возвышении ногу. Взглядом спокойным и довольным собой, самонадеянным взглядом. Она мерила одну пару обуви за другой, вставала и прохаживалась перед зеркалом, в котором отражалась только ее нога — в желтых туфлях, в коричневых туфлях, в туфлях из крокодиловой кожи. Она приподнимала свои маленькие юбки и демонстрировала свои маленькие ножки. Ноги — должно быть, думала она — самая важная часть тела; женщин, убеждала она себя, всегда любили только за их ноги. Оттого что она не видела ничего, кроме своих ног, ей, быть может, казалось, что и все ее тело ничем не отличается от этих красивых ног. Одета она была скромно, при этом готова была выложить за новые туфли любую сумму. И коль скоро карлица знала, что лишь в обувном магазине ей нечего бояться вызвать напряженные, испуганные взгляды, она готова была любым способом, как можно дольше продолжать выбирать и мерить обувь. “Посмотрите на мои ножки”, — казалось, говорила она, поворачиваясь то так, то эдак. Продавщица, по доброте душевной, вероятно, сказала ей что-то лестное, так как она вдруг просияла. Однако у великанш, какими бы великодушными они ни казались, были свои дела; она должна принять решение, остановить на чем-то свой выбор. Туфли наконец были куплены, и, когда она вместе со своими великаншами выходила из магазина с качавшимся на пальце свертком, радость ее поблекла, память вернулась, на лице вновь появился брюзгливый и виноватый вид, и магазин она покинула такой же, как была, карлицей, и никем другим.

Наше настроение изменилось. Когда мы следом за ней вышли на улицу, у нас возникло ощущение, что нас со всех сторон окружают неполноценные люди: горбуны, калеки, карлики. По тротуару нам навстречу шагали двое бородатых мужчин, по всей вероятности, слепых. Они шествовали, положив руки на голову маленькому мальчику, идущему между ними. Двигались слепые той непреклонной и в то же время неверной походкой, какой идут незрячие, и в этой их походке, в том, как они приближались, сквозили ужас и неизбежность постигшей их судьбы. Держались они прямо, шли в ногу и своим молчаливым, целеустремленным, скорбным порывом, казалось, рассекали толпу прохожих надвое. В самом деле, карлица словно бы вовлекла нас в неловкий, спотыкающийся, гротескный танец. Вовлекла всех, находившихся в это время на улице: полную даму, кутавшуюся в броский котиковый жакет, слабоумного мальчика, сосавшего серебряный набалдашник своей палки, старика, сидящего на корточ-

ках на крыльце с таким видом, будто он охвачен абсурдом человеческого спектакля; старик присел на корточки, чтобы на этот спектакль взглянуть. Все, каждый на свой лад, пустились, по мановению карлицы, в пляс.

В каких щелях, в каких закоулках — поневоле задаешься вопросом — скрывается эта искаленная жизнью компания убогих и увечных? Может быть, здесь, в верхних комнатах этих узких старых домов между Холборном и Сохо, где у жильцов такие странные имена, где у них такие разнообразные, диковинные профессии? Кого тут только нет: и золотобойцы, и плессировщики, и торговцы пуговицами. Чем тут только не зарабатывают на жизнь: торгуют чашками без блюдец, фарфоровыми ручками от зонтов, разноцветными открытками с изображением святых мучеников. Тут они и живут, и, похоже, дама в котиковом жакете на жизнь не жалуется из-за того, что проводит время с плессировщиком или торговцем пуговицами; жизнь, которая так фантастична, что не может быть совсем уж трагической. Они не завидуют нам, нашему благосостоянию, думаем мы, когда, повернув за угол, сталкиваемся с бородатым евреем: дикие, изголодавшиеся глаза, пялятся на нас, выглядывая из-за своих невзгод. А вот горбатая старуха, валяется, брошенная всеми, на ступеньках публичного здания; лежит, прикрывшись плащом, похожим на тряпку, которую в спешке набрасывают на павшую лошадь или сдохшего осла. От вида всего этого убожества по спине пробегают мурашки, в глазах вспыхивает яркий свет, задаешься вопросом, на который нет ответа. Довольно часто эти отверженные выбирают места неподалеку от театров, от тех улиц, откуда доносятся звуки шарманки, мелькают плащи в блестках и сверкающие в темноте штиблеты спешащих на званый ужин или на танцы. Они лежат рядом с витринами, где в расчете на старух, валяющихся на ступеньках, на слепых, на ковыляющих карликов выставлены диваны с позолоченными гордыми шеями лебедей на изголовьях, столы с инкрустированными корзинами разноцветных фруктов, буфеты, вымощенные зеленым мрамором, чтобы не рухнуть под весом блюда с кабаньей головой, и ковры, так стершиеся от времени, что гвоздики в бледно-зеленом море почти не видны.

Когда идешь и смотришь по сторонам, то кажется, будто все кругом по случайности, но и по волшебству окроплено красотой, как будто волны коммерции, что так целеустремленно и прозаично набегают на берега Оксфорд-стрит, выбрасывают в этот вечер одни сокровища. Наш глаз, хоть он и не собирает ничего покупать, весел и щедр; он творит, он

украшает, он преувеличивает. Стоишь на улице и обставляешь комнаты воображаемого дома, украшаешь их, как тебе заблагорассудится, — диваном, столом, ковром. Вот этот ковер годится для холла. А эта гипсовая ваза будет стоять на резном столике у окна. Наше веселье отразится вон в том круглом зеркале в тяжелой раме. Мы построили и украсили этот дом, но, по счастью, вовсе не обязаны владеть им; нам ничего не стоит в мгновение ока его разобрать и построить, и обставить другой дом с другими стульями, с другими зеркалами. Или давайте пойдем в магазин старинных драгоценностей, полюбуемся кольцами на подносах, висящими ожерельями. Давайте выберем вот это жемчужное ожерелье, а потом вообразим, как, если мы его наденем, изменится наша жизнь. Кажется, что уже два или три часа утра, на пустых улицах Мэйфера каким-то очень белым светом горят фонари. В этот час на улицах одни автомобили, возникает чувство пустоты, беззаботности, радости, которыми не поделишься ни с кем. В жемчугах, в шелке выходишь на балкон, под которым раскинулись сады спящего Мэйфера. В спальнях кое-где еще горит свет, великие люди только что вернулись с приема во дворце, лакеи в шелковых чулках, высокопоставленные вдовы пожимают руки государственным деятелям. Кошка стелется по садовой ограде. В укромных нишах комнаты, за толстыми зелеными занавесками, слышится соблазнительный шепот любовных пар. Степенно прогуливаясь, так, словно он расхаживает по террасе, под которой, нежась в солнечных лучах, лежат графства Англии, престарелый премьер-министр рассказывает леди такой-то с локонами и изумрудами всю правду о глубоком политическом кризисе, постигшем страну. Нам мнится, будто мы куда-то несемся, забравшись на самую высокую мачту самого высокого корабля, и в то же время мы знаем: все это ничего не значит, любовь таким образом не докажешь, да и великие события этим не кончаются. А потому, стоя на балконе и глядя, как кошка в лунном свете карабкается по садовой стене принцессы Мэри, мы ловим момент и слегка прихорашиваемся.

Что за вздор! На самом же деле часы только что пробили шесть; сейчас зимний вечер, мы идем по Стренду купить карандаш. Не можем же мы в это самое время стоять в жемчугах на балконе в июне! Какой абсурд! И тем не менее это ведь не наша причуда, а причуда природы. Когда она взялась за сотворение своего шедевра — человека, ей надо было думать только об этом и ни о чем другом. Она же, повернув голову, глядя через плечо на каждого из нас, внушила нам инстинкты и желания, которые никак не связаны с нашей сущностью, и в ре-

зультате мы выкрашены не одной краской, а несколькими, перемешанными, между собой не сочетающимися. Кто я? Та, что стоит на Стренде в январе, или та, что смотрит с балкона на Мэйфер в июне? Я здесь или я там? Или наше истинное “я” — не это и не то, не здесь и не там, оно так многозначно, так неузнаваемо, что, только когда мы дадим ему волю, не будем его удерживать, только тогда мы станем самими собой. Обстоятельства стремятся к упрощению, человек, чтобы удобней было иметь с ним дело, должен быть кем-то привычным, понятным. Добропорядочный гражданин, когда он открывает вечером дверь, должен быть банкиром, игроком в гольф, мужем, отцом — а не кочевником, бредущим по пустыне, или мистиком, устремившим взор в небо, или распутником в трущобах Сан-Франциско, или воином, ставшим во главе революции, или парией, стенающим от скептицизма и одиночества. Когда он открывает дверь, то должен, как и все остальные, пригладить рукой волосы и закрыть зонт.

А вот наконец и лавка букиниста. Здесь мы скроемся от несовместимых потоков бытия, здесь переведем дух после радостей и горестей улиц. Чего стоит хотя бы вид жены букиниста: сидит, уравновешенная, довольная жизнью, у камина, ногу поставила на каминную решетку. Она никогда ничего не читает, разве что газету, если о чем и говорит, когда тема книгопродажи исчерпана, то исключительно о шляпках; ей нравятся шляпы, они, говорит она, практичны и хорошо смотрятся. Нет, в магазине они с мужем не живут, они живут в Брикстоне: “Не представляю себе жизни без природы”. Летом, чтобы оживить сумрак книжной лавки, она ставит на пыльную пачку книг кувшин с цветами из собственного сада. Книги здесь повсюду, и нас охватывает всегдашний дух приключений. Букинистические книги — дикие книги, бездомные книги, они слетаются сюда, точно огромные стаи самых диковинных птиц, от них исходит обаяние, которого нет у прирученных томов домашней библиотеки. В этой разношерстной книжной компании мы можем, по чистой случайности, наткнуться на незнакомца, который, если повезет, станет нашим лучшим на свете другом. Когда мы снимем с самой верхней полки какую-нибудь серовато-белую книгу, которая привлекла наше внимание своей неказистостью и заброшенностью, всегда есть надежда, что на ее страницах мы встретимся с человеком, который более ста лет назад выехал верхом на шерстяной рынок в Мидлендсе или в Уэльсе. Никому не ведомый путник, он останавливался в придорожных гостиницах, выпивал пинту пива, поглядывал на хорошеньких девушек и приглядывал за местными обычаями. И все, что видел, записывал. Писал

усердно, медленно, удовольствия ради (издавалась книга за его счет). Его стиль отличался будничностью, прозаичностью, и он не мог себе представить, что от этой будничности веет ароматом роз и сена, что его портрет навсегда запечатлется в укромном уголке читательского воображения. Сейчас его книжку можно было купить за восемнадцать пенсов. На обложке стояла цена три шиллинга и шесть пенсов, но жена букиниста знала, как книга истрепалась и сколько времени пролежала у них с тех пор, когда была куплена на распродаже библиотеки какого-то джентльмена из Суффолка, и готова была отдать ее нам задешево.

Осматривая книжную лавку, мы испытываем порой неожиданные, недолговечные дружеские чувства к неведомому и исчезнувшему. Вот к этому маленькому сборнику стихов, например: отличная печать, прекрасные гравюры, на фронтисписе портрет автора. Он был поэтом, утонул в молодости, в его стихах, пусть и слабых, поверхностных, нравоучительных, было что-то горькое, мелодичное, как у шарманки, которую где-нибудь на задней улице с отрешенным видом крутит старик-итальянец в плисовом пиджаке. А сколько здесь путешественниц, этих неукротимых старых дев, что жалуются на неудобства, выпавшие на их долю, и с придыханием описывают заход солнца, которым они восхищались в Греции, когда королева Виктория была еще девочкой. Путешествие в Корнуолл с посещением оловянных копий было также сочтено достойным многостраничного описания. Одни медленно плыли вверх по Рейну и писали тушью портреты друг друга; другие сидели на палубе рядом с мотком канатов и читали; третьи карабкались на пирамиды, годами странствовали невесть где, загоняли негров в чумные болота. Укладывали чемоданы и уплывали, исследовали пустыни и заболели лихорадкой, переезжали жить в Индию, добирались даже до Китая, а потом возвращались вести тихую жизнь в Эдмонтоне. Горы книг на пыльном полу, точно волны, накатывающиеся на берег, у самых дверей этих неугомонных англичанок. Воды странствий и приключений обрушиваются на островки тяжкого, многолетнего труда, книги, точно зубчатые колонны, неровными рядами высятся до потолка. В грудах этих переплетенных красной кожей томов с золотой монограммой на задней обложке вдумчивые священники толкуют Евангелие. Слышно, как ученые своими молотками и долотом обтесывают древние тексты Еврипида и Шекспира. Размышления, комментарии, толкования захлестывают все вокруг, живое и мертвое, древние воды беллетристики катятся на нас вечным, неудержимым потоком. Бессчетные тома

рассказывают, как Артур любил Лауру, как они расстались, как были несчастны, и как потом они встретились вновь и были счастливы всю оставшуюся жизнь, — иначе и быть не могло, когда Виктория правила этими островами.

Количество книг на свете неисчислимо, остается лишь смотреть по сторонам и кивать, и, перекинувшись словом, осененным мыслью, идти дальше. Вот и на улице до тебя доносятся чьи-то слова, и из случайно оброненной фразы рождается целая жизнь. Эти женщины говорят о какой-то Кейт, о том, как “Вчера вечером я ей прямо так и сказала... если, по-твоему, говорю, я ничего не стою...” Но кто такая Кейт, из-за чего подруги поссорились, мы никогда не узнаем, ибо Кейт растворяется в их бурной беседе. И здесь же, на углу, открывается еще одна страница из книги жизни: мы видим двух мужчин, разговаривающих под фонарем. Они обсуждают только что полученную из отдела новостей телеграмму из “Ньюмаркета”. Они что же, думают, что судьба когда-нибудь превратит их изношенную одежду в меха и поплин, что на то место, где у них сейчас ношенная рубашка с открытым воротом, судьба повесит цепочку от часов и вденет бриллиантовые булавки? Но основной поток прохожих в этот час проносится слишком быстро, и задать им такие вопросы мы не успеваем. Теперь, когда этим двоим не нужно больше сидеть за письменным столом, когда у них появился свежий румянец на щеках, их по пути с работы домой обволакивает какой-то наркотический сон. Они наряжаются в броские одежды, которые должны будут на весь остаток дня повесить в шкаф и запереть на ключ, и становятся великими игроками в крикет, знаменитыми актерами, солдатами, спасшими отечество в тяжкую годину. Мечтая, жестикулируя, часто бормоча вслух какие-то слова, они пробегают по Стренду, переходят реку по мосту Ватерлоо, откуда длинные громыхающие поезда доставят их в аккуратный маленький домик в Барнсе или в Сербитоне, где вид часов в холле и запах ужина этажом ниже прерывают этот наркотический сон.

Но вот и Стренд, и, пока мы в нерешительности переминаемся на обочине, маленький стержень длиной в палец становится помехой на нашем пути, угрожает полноценности нашей жизни. “Я же должна, я же должна...” Не вдаваясь в суть этого требования, наш ум съеживается перед всегдашним тираном. Ты должен, ты всегда должен, должен сделать то, сделать это; просто радоваться жизни недопустимо. Не по этой ли причине мы какое-то время назад под каким-то предлогом придумали, что нам необходимо что-то купить? Но что? Ну да, конечно, карандаш. Так пойдем же и купим этот

карандаш. Но не успеваем мы повернуться и выполнить задуманное, как наше второе “я” оспаривает право тирана настоять на своем. Возникает привычный конфликт. За маленьким стрежнем, указывающим нам путь, мы видим разлившуюся во всю ширь Темзу — необъятную, угрюмую, мирную. И видим мы ее глазами того, кто летним вечером, не испытывая ни малейшего страха, перегнулся через парапет. Давайте отложим покупку карандаша, давайте пойдем на поиски этого человека. И скоро становится очевидным, что человек этот — мы сами. Ведь если мы можем стоять там, где стояли шесть месяцев назад, почему бы нам опять не быть теми, кем мы были тогда, — спокойными, равнодушными, довольными собой? Так давайте попробуем. Но река сейчас серая, беспокойная, не такая, как тогда. Она течет в море и тянет за собой буксир и две баржи, в баржах под тщательно накрытым брезентом груз соломы. Рядом с нами, облокотившись на парапет, стоит любовная парочка, у них обоих на удивление отсутствует столь свойственная влюбленным застенчивость, держатся они так, будто важность дела, которым они заняты, требует от человечества снисходительности. То, что мы видим, то, что слышим, не имеет ничего общего с прошлым; точно так же как мы нисколько не разделяем безмятежности человека, который полгода назад стоял на том самом месте, где мы стоим сейчас. Его счастье — в смерти, наше — в неуверенности в жизни. У него нет будущего; будущее даже сейчас вторгается в наш мир. По-настоящему насладиться миром мы можем только тогда, когда, глядя в прошлое, лишим его неопределенности. Ну а сейчас пора поворачиваться, снова перейти Стренд на противоположную сторону и поискать магазин, где даже в этот час нам будут готовы продать карандаш.

Входить в новое помещение — это всегда испытание, ведь жизнь и характер его владельцев вдохнули в него свои чувства, создали его под себя, и стоит нам переступить порог, как нас подхватывает совсем другая, новая эмоциональная волна. Здесь, в этом писчебумажном магазине, его владельцы, вне всяких сомнений, ссорились. Воздух был пропитан их гневом. Когда мы вошли, оба замолчали, старуха — они с очевидностью были мужем и женой — удалилась в заднюю комнату. Старик, чей выпуклый лоб и выпученные глаза хорошо бы смотрелись на фронтисписе какого-нибудь елизаветинского фолианта, остался в магазине нас обслужить. “Карандаш, карандаш, — твердил он, — конечно, конечно”. В его голосе слышалось раздражение и, одновременно, рассеянность человека, который, не успев до конца выразить свои чувства, сразу же с ними справился. Он стал открывать коробку за коробкой и опять их за-

крывать. Сказал, что когда столько товара, то невозможно ничего найти. Начал рассказывать историю про какого-то юриста, который попал в беду из-за поведения своей жены. С этим юристом он был знаком много лет, ведь полвека, сказал старик, он имел дело с Темплом; сказал, словно хотел, чтобы его жена в задней комнате услышала, что он говорит. Он опрокинул коробку с резиновой тесьмой и наконец, выведенный из себя своей беспомощностью, распахнул дверь и грубо крикнул: “Где у тебя карандаши?” так, будто жена их от него спрятала. Старуха вошла. Ни на кого не глядя, она с праведным негодованием положила руку на нужную коробку с карандашами. Не может обойтись без нее? Значит, она ему нужна? Чтобы удерживать их здесь, стоявших плечом к плечу, с трудом сохранявших нейтралитет, нужно было не торопиться с выбором карандашей; этот слишком мягкий, тот слишком твердый. Они стояли и молча за нами наблюдали. И чем дольше они так стояли, тем спокойнее становились, их пыл остывал, гнев пошел на убыль. При том что ни он, ни она не сказали друг другу ни слова, ссора закончилась. Старик, чья внешность украсила бы титульную страницу комедий Бена Джонсона, поставил коробку обратно на место, с низким поклоном пожелал нам спокойной ночи, и они исчезли. Она вновь возьмется за шитье, он будет читать газету, а канарейка — беспристрастно обсыпать их зернами. Ссоры как не бывало.

За то время, что мы искали тени прошлого, завязывалась ссора, покупался карандаш, — улицы опустели. Жизнь вернулась на верхние этажи, зажглись фонари. Тротуар стал сухим и твердым, мостовая отливала чеканным серебром. По пути домой пустынными улицами можно будет рассказать самому себе историю о карлице, о слепцах, о приеме в особняке Мэйффера, о ссоре в писчебумажном магазине. В каждую из этих жизней можно будет погрузиться настолько, чтобы создавалась иллюзия, будто человек не привязан к одному телу, к одному рассудку и может хотя бы на несколько минут переселиться в тело и рассудок другого. Может на время стать прачкой, содержателем бара, уличным певцом. И нет большего удовольствия, большего чуда, чем сойти с прямого пути своей личности и углубиться в нехоженые тропы, что ведут под куманикой и могучими стволами деревьев вглубь леса, где живут эти дикие звери — люди, такие же, как и мы.

Что верно, то верно: скрыться из вида — величайшее удовольствие; бродить по улицам зимой — незабываемое приключение. И все же, когда мы вновь вступаем на порог своего дома, приятно ощущать старые вещи, которые нас окружают, наши давние предрассудки. Радостно, что гонимые ветром на

стольких городских перекрестках, опаленные, словно мотылек в пламени, столькими недосягаемыми уличными фонарями, мы наконец нашли свое пристанище, находимся в безопасности. Вот она, наша дверь, вот стул, мы его повернули, когда уходили, вот фарфоровая ваза и бурое кольцо на ковре. И вот — давайте же с нежностью оглядим его со всех сторон, давайте прикоснемся к нему со всем почтением, ведь это единственный трофей из всех сокровищ города, который нам удалось себе присвоить, — самый обыкновенный графитовый карандаш.